

Луи Мортимера-Терно

История террора
1792-1794 гг. Том
первый



Луи Мортимера-Терно История террора 1792-1794 гг. Том первый

<https://litres.ru/74343778>

SelfPub; 2026

Аннотация

Настоящий том открывает фундаментальный восьмитомный труд Луи Мортимера-Терно (1808–1871), посвящённый истории Французской революции 1792–1794 годов. Автор, выдающийся историк и политический деятель, ставит своей целью восстановить подлинную картину событий, опираясь исключительно на архивные документы, многие из которых публикуются впервые. В «Предварительном замечании» он подвергает беспощадной критике мемуары, памфлеты и даже официальные газеты, в частности «Монитёр», разоблачая их тенденциозность. В «Введении» формулируется главный тезис: террор не спас Францию — она была спасена вопреки ему, героизмом армии, а не действиями якобинцев. Автор проводит резкое различие между патриотами, сражавшимися за родину, и убийцами, учинявшими расправы. Книга содержит подробный анализ событий, предшествовавших 20 июня 1792 года, портреты ключевых фигур эпохи и обширный документальный аппарат.

Содержание

Предисловие	4
Предварительное замечание.	12
Введение.	17
Примечания:	61
Книга первая. — Праздник свободы и праздник закона.	72
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Луи Мортимера-Терно История террора 1792-1794 гг. Том первый

Предисловие

Настоящее издание представляет собой первый том фундаментального труда Луи Мортимера-Терно (Louis Mortimer-Ternaux) «История террора, 1792–1794 гг.», впервые опубликованного в Париже издательством Michel Lévy Frères в 1862–1881 годах. Этот восьмитомный труд стал одним из наиболее значительных и противоречивых исторических сочинений XIX века, посвящённых Французской революции.

Автор: Луи Мортимер-Терно (1808–1871).

Биографические сведения.

Луи Мортимер-Терно родился в Париже 22 ноября 1808 года и скончался в Бомон-лез-Отель (департамент Эр и Луар) 6 ноября 1871 года. Он происходил из семьи Терно; имя Мортимер-Терно было литературным псевдонимом. Его дядей был Луи-Гийом Терно (1763–1833), известный промышленник и политический деятель эпохи Империи и Реставрации.

На протяжении своей карьеры Мортимер-Терно занимал видные государственные и политические должности. Он был докладчиком Государственного совета (*maître des requêtes*) с 1837 по 1848 год, членом Генерального совета департамента Сена, а в 1842 году был избран депутатом Национального собрания. В 1848 году он вновь стал членом Учредительного, а затем и Законодательного собрания. В 1865 году он был избран членом Академии моральных и политических наук (*Académie des sciences morales et politiques*). При Второй империи он отошёл от активной политической деятельности, но в 1871 году, незадолго до смерти, вновь был избран в Национальное собрание.

Политические взгляды и историческая позиция.

Мортимер-Терно принадлежал к умеренно-либеральному крылу французской политической мысли. Он был сторонником принципов 1789 года, но решительным противником эксцессов революционной диктатуры. Как писал один из исследователей его творчества, «принципы 1789 года им открыто принимаются. „Мы — дети Французской революции, и мы не станем богохульствовать против нашей матери“».

Его политическое кредо, сформулированное во введении к «Истории террора», сводится к неприятию всякой тирании — как единоличной, так и коллективной. «Два начала оспаривают друг у друга владычество над миром — свобода и деспотизм. Демагогия, по правде говоря, есть лишь одно из воплощений деспотизма», — пишет он. Именно этой идеей

— что коллективная тирания якобинцев была столь же чудовищна, как и тирания монархическая, — проникнут весь его труд.

В своей речи в Национальном собрании 23 марта 1850 года Мортимер-Терно уже провозгласил: «Коллективная тирания во сто крат суровее, во сто крат жестче, во сто крат невыносимее тирании единоличной; ибо коллективный тиран не имеет ни сердца, ни внутренностей, ни ушей: он даже не слышит жалоб своих жертв» . Эти слова стали программными для его исторического труда, начатого более десяти лет спустя.

«История террора»: замысел и метод.

Мортимер-Терно предпринял свой монументальный труд в эпоху, когда историография Французской революции была глубоко поляризована. Романтическая школа, представленная Мишле и Луи Бланом, создавала героический образ революции; реакционные историки, напротив, стремились очернить всё революционное движение. Мортимер-Терно занял срединную, но весьма своеобразную позицию: признавая величие принципов 1789 года и заслуги Учредительного собрания, он обрушивался с беспощадной критикой на якобинский террор 1792–1794 годов как на «демагогическую тиранию».

Отличительной чертой его труда стала невиданная для того времени источниковедческая база. Автор поставил перед собой цель опираться исключительно на подлинные доку-

менты — архивы, протоколы заседаний, ведомственные отчёты, частные письма. Как он сам заявляет в «Предварительном замечании», «девять десятых материалов, которые мы приводим — либо в тексте, либо в примечаниях внизу страниц, либо в пояснениях, вынесенных в конец тома, — совершенно не опубликованы». Он произвёл розыски в хранилищах, архивах и канцеляриях Парижа и многих департаментов.

Примечательно, что многие документы, которые он использовал, впоследствии погибли во время пожара Парижской Коммуны в мае 1871 года. В частности, сгорели архивы префектуры полиции, содержавшие уникальные материалы. Таким образом, труд Мортимера-Терно сохранил для истории множество свидетельств, которые иначе были бы утрачены навсегда.

Критика источников — кредо историка.

Особую ценность «Предварительному замечанию» придаёт тот факт, что Мортимер-Терно не только подробно обосновывает свой метод, но и даёт беспощадный критический анализ источников, которыми пользовались его предшественники. Он предостерегает от трёх основных типов документов:

Частные мемуары, которые, по его мнению, пишутся с единственной целью «ввести в заблуждение потомство», особенно те, что оставлены «лицами, принимавшими деятельное участие в событиях эпохи террора» и пытавшими-

ся «переиначить историю по своему усмотрению ради единственно собственного личного обеления».

Памфлеты и газеты того времени, в которых «истина слишком часто искажается, причём искажается сознательно». Мортимер-Терно решительно развенчивает миф о беспристрастности «Монитёра», официальной газеты Конвента. Он приводит подлинное письмо редактора отдела Гран-виля к Робеспьеру (18 июня 1793 года), в котором тот признаётся, что газета всегда публиковала речи Горы гораздо подробнее, чем речи жирондистов, урезала заседания и опускала неудобные выступления.

Документы личного происхождения, созданные по политическим мотивам, требующие «чрезвычайной осмотрительности».

Своей главной задачей Мортимер-Терно считал восстановление истины путём сличения различных версий: «Мы с величайшим тщанием сверяли, заседание за заседанием, отчёты «Монитёра» с отчётами «Логографа» и «Журнала прений и декретов» — собраний весьма редких и зачастую более точных и более полных, нежели первый».

Историческая концепция.

В своём труде Мортимер-Терно последовательно проводит несколько ключевых идей:

Террор не спас Францию. Вопреки распространённому мнению, что Франция была спасена террором, автор утверждает обратное: «Франция обладала такой жизненной силой,

что была спасена вопреки Террору». Героизм народа и армии, а не действия Комитета общественного спасения, обеспечили победу при Вальми и остановили интервентов .

Разделение героев и палачей. Мортимер-Терно решительно отвергает тезис, что одни и те же люди были и сентябрьскими убийцами, и солдатами, защищавшими родину. «Нет, к чести французского имени: люди, которые под погребальный звон сентябрьского набата... устремились к тюрьмам, не были теми, кто пятнадцать дней спустя спас Францию на плато Вальми».

Роль личности в истории. Автор даёт яркие, иногда беспощадные портреты главных действующих лиц — от Людовика XVI и Марии-Антуанетты до Робеспьера, Дантона, Марата и Дюмуре. Он подчёркивает, что якобинские вожди были не фанатиками, а «лицедеями, без убеждений, как и без воодушевления», движимыми личными амбициями, жадной власти и мести.

Преемственность революционного насилия. Мортимер-Терно прослеживает, как 20 июня 1792 года стало поворотной точкой, когда анархия впервые вторглась в святилище законов и в жилище монарха. С этой даты, по его мнению, начинается царство улицы, которое логически приведёт к 10 августа, сентябрьским убийствам и якобинской диктатуре.

Восприятие и полемика.

Труд Мортимера-Терно вызвал ожесточённую полемику сразу после выхода. Либеральные и республиканские исто-

рики обвиняли его в односторонности и реакционных симпатиях. Так, в Большой советской энциклопедии работа характеризуется как «контрреволюционная фальсификация истории французской буржуазной революции XVIII в.» . Однако даже критики признавали огромную источниковедческую ценность издания.

Как отмечают исследователи, «Мортимер-Терно открыл систематическое изучение архивов» и его восемь томов, «наполненных выдержками из реестров парижских секций и отчётов Коммуне, остаются незаменимыми» . Среди историков, признававших значимость его труда, был даже Пётр Кропоткин, который, критически относясь к общей концепции автора, высоко оценивал его работу «в плане широкой источниковой базы» .

Научное наследие и значение.

Несмотря на политическую ангажированность, «История террора» Мортимера-Терно остаётся важным этапом в развитии исторической науки. Он одним из первых поставил вопрос о критике источников, о необходимости обращения к подлинным архивным материалам, о значении документов муниципального и секционного уровня для понимания революционных процессов . Его восьмитомный труд, охвативший лишь один год (с июня 1792 по июнь 1793 года), продемонстрировал, насколько сложной и многослойной была реальность Французской революции, скрытая за героическими или демоническими нарративами предшественников.

Смерть настигла автора в 1871 году, когда работа не была завершена. Восьмой том был опубликован посмертно в том же году, оставив историю террора на полпути — у порога учреждения Революционного трибунала и наступления Великого террора . Однако и то, что успел сделать Мортимер-Терно, — это бесценное собрание свидетельств, «верная картина неистовств демагогии», как он сам её называл, до сих пор сохраняющая историческое значение.

Настоящий русский перевод первого тома позволяет читателю ознакомиться с этой знаковой работой во всей полноте её источниковедческих богатств и публицистического пафоса. «Предварительное замечание» и «Введение», составляющие основу этого издания, дают ключ к пониманию авторского замысла и той исторической позиции, с которой Мортимер-Терно подходит к одному из самых трагических периодов французской истории.

Предварительное замечание.

Большинство историков, писавших о Французской революции, черпали основные элементы своих повествований из частных мемуаров, из памфлетов и газет того времени, особенно из «Монитёра».

Без сомнения, эти документы имеют своё значение, но обращаться к ним следует с чрезвычайной осмотрительностью. Истина в них слишком часто искажается, причём искажается сознательно. Частные мемуары пишутся с особой точки зрения того, кто держит перо, а порой и с единственной целью ввести в заблуждение потомство. В особенности следует относиться с величайшим подозрением к запискам и мемуарам, оставленным некоторыми лицами, принимавшими деятельное участие в событиях эпохи террора. Успокоенные исчезновением свидетелей этой кровавой драмы, воображая, что доказательные документы их прошлых преступлений и их посмертной лжи уничтожены, они переиначили историю по своему усмотрению и ради единственно собственного личного обеления.

Памфлеты и газеты того времени написаны с такой страстностью, что они намеренно искажают события и их причины, деяния и их побуждения; на каждой странице они содержат бесстыдную ложь, которую никогда не дают себе труда исправить, и могут приводиться лишь как неопровержи-

мый и непрестанный образчик предрассудков, безумств и неистовств эпохи.

Беспристрастность «Монитёра» превозносили столь часто, что подавляющее большинство читателей до сих пор верит в неё со слепым доверием; и однако же сколько урезанных заседаний, сколько опущенных речей, сколько возмутительных проявлений пристрастности можно поставить в упрёк этому листку, который лишь позднее стал официально правдивым! В доказательство сказанного мы хотим привести только признание, содержащееся в письме, найденном среди бумаг Робеспьера и написанном всемогущему демагогу гражданином Гранвилем, главным редактором отдела «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНВЕНТ» в «Монитёре». Мы держали его подлинник в своих руках. Это письмо датировано 18 июня 1793 года, следовательно, оно написано через пятнадцать дней после проскрипции жирондистов. Мы приводим из него лишь самые яркие места, опасаясь утомить читателя слишком долгим зрелищем человеческой низости, доведённой до последнего предела.

Гражданин,

прошу вас братски сообщить мне те упрёки, которые вы могли бы нам сделать. Часто намерению приписывают то, что относится лишь к ошибке; писатель, наиболее преданный делу патриотизма, подвержен обвинениям. Часто его подозревают из-за самого незначительного упущения.

... Лишь два месяца назад существовало мнение, что га-

зета должна одинаково публиковать всё, что говорится за и против; так что мы были вынуждены, под страхом быть до-несёнными, под страхом потерять доверие наших подписчиков, публиковать самые нелепые диатрибы глупцов или интриганов правой стороны. Однако вы должны были заметить, что «Монитёр» всегда передавал речи Горы гораздо подробнее, чем прочие. Я дал лишь краткое извлечение из первого обвинения, выдвинутого против вас Луве, и полностью поместил ваш ответ. Я передал почти целиком все речи, произнесённые за смерть короля, и приводил лишь некоторые выдержки из прочих, только насколько был к тому непременно обязан, чтобы сохранять некоторую видимость беспристрастности. Могу с уверенностью сказать, что гласность, которую я придал целиком двум вашим речам и речи Барера, немало способствовала тому, чтобы определить мнение Собрания и мнение департаментов.

Никто не станет также оспаривать, что «Монитёр» оказал величайшие услуги революции 10 августа. Впрочем, достаточно бросить взгляд на наши листки за последний месяц, чтобы увидеть, что нет ни одной газеты, которая более способствовала бы низвержению в общественном мнении интриганов, над которыми народ вот-вот свершит правосудие. Исходя из этого, мы полагаем, что имеем некоторое право на снисходительность и даже на покровительство патриотов.

Этот исторический документ, в котором гнусный льстец Робеспьера призывает смерть на головы несчастных жирон-

дистов, сам по себе характеризует целую эпоху и не нуждается в комментарии.

Дабы избежать ошибок, которые мы считаем возможным поставить в упрёк некоторым из наших предшественников, мы с величайшим тщанием сверяли, заседание за заседанием, отчёты «Монитёра» с отчётами «Логографа» и «Журнала прений и декретов» — собраний весьма редких и зачастую более точных и более полных, нежели первый. Именно таким образом мы смогли восстановить подлинный облик не одного важного заседания Законодательного собрания и Конвента.

Мы не пренебрегли и печатными документами, особенно теми, которые, публикуясь изо дня в день отдельными листками, с большим трудом отыскиваются в глубинах библиотек и частных собраний. Но главным образом мы прибегали к документам оригинальным и подлинным. Девять десятых материалов, которые мы приводим — либо в тексте, либо в примечаниях внизу страниц, либо в пояснениях, вынесенных в конец тома, — совершенно не опубликованы. Мы не отступили ни перед какими затратами труда, старания, времени и средств; мы произвели розыски в хранилищах, архивах, канцеляриях, существующих в Париже и во многих департаментах. Наши читатели рассудят, была ли наша жатва плодотворной и имеет ли наша дерзость оправдание, а наш труд — право на существование теперь, после стольких писателей, с несомненным талантом разрабатывавших предмет,

к которому мы приступаем.

Но мы спешим сказать, что в течение этих столь долгих и столь тяжких трудов нас поддерживало и ободряло то, что повсюду мы встречали драгоценнейшие знаки сочувствия; у всех хранителей или обладателей этих исторических богатств мы находили усердное и действенное содействие. Да позволят они нам выразить им здесь нашу самую искреннюю и самую глубокую благодарность.

Введение.

I

С самого возникновения обществ два начала оспаривают друг у друга владычество над миром — свобода и деспотизм.

Деспотизм может утвердить свой престол и на улице, и во дворце королей; опираться как на толпу, так и на преторианцев; осуществляться как Комитетом общественного спасения, так и Тиберием или Нероном. Демагогия, по правде говоря, есть лишь одно из воплощений деспотизма.

Друзья свободы часто разделены оттенками мнений и взаимными недоразумениями, но они могут подать друг другу руку без стыда и без опасности. Демагоги же и деспоты отлично понимают друг друга, даже когда с виду борются между собой: они хорошо знают, что являются назначенными преемниками, естественными наследниками один другого. Они щадят друг друга, как люди, чувствующие, что их объединяет общая ненависть — ненависть к свободе. Они готовы заключить друг друга в объятия, как только надеются в этих объятиях задушить общего врага. Борьбаться с демагогией и клеймить её — значит всё ещё бороться с деспотизмом и клеймить его.

Пусть же никто не заблуждается относительно духа, вдохновившего этот труд; пусть никто не видит в нём даже косвенной дани идеям, которые, по-видимому, торжеству-

ют в нынешнее время, даже замаскированного отречения от принципов, руководивших автором на протяжении всей его политической деятельности, сколь бы скромной она ни была.

Чтобы восстать против преступлений, едва не обесчестивших прекраснейшее из дел, мы не дожидались того времени, когда свобода будет отнесена к разряду утопий, которые так называемый просвещённый век должен поспешно отвергнуть. В самом Собрании представителей французского народа, в ту пору, когда с национальной трибуны не раз раздавались похвалы доктринам Робеспьера и его приверженцев, 23 марта 1850 года мы произнесли следующие слова:

История здесь для того, чтобы научить нас, что коллективная тирания во сто крат суровее, во сто крат жестче, во сто крат невыносимее тирании единоличной; ибо коллективный тиран не имеет ни сердца, ни внутренностей, ни ушей: он даже не слышит жалоб своих жертв. Мы хорошо это видели в те времена омерзительной памяти, в том 1793 годе, о котором ныне так услужливо напоминают.

С тех пор прошло одиннадцать лет, и наш ужас перед демагогическими эксцессами не уменьшился; он даже возрос бы, будь это возможно. Разве недавнего вызова призрака Террора голосами нескольких безумцев не хватило для того, чтобы отбросить Францию прочь с путей прогресса и свободы и повергнуть её, дрожащую и плачущую, к стопам диктатуры?

Преступления 1793 года были совершены во имя свобо-

ды; но свобода не была их сообщницей и не должна оставаться за них в ответе.

Террористы были лишь рабскими подражателями, неуклюжими плагиаторами самых чудовищных тиранов древности. Одни действовали во имя верховной власти народа, другие прежде действовали во имя права своего рождения или усыновления. Но какие бы принципы ни призывались для оправдания посягательств на право, все тирании, по сути, походят друг на друга и стоят друг друга; все они приносят одни и те же плоды. Цинизм нравов, презрение к человеческому достоинству, жажда хищений, культ насилия, поклонение грубой силе быстро вызревают и чудовищно разрастаются в атмосфере, пропитанной расслабляющими испарениями деспотизма.

Прошлое народа, климат, в котором он живёт, место, занимаемое им в течении веков, вносят лишь ничтожные изменения в эту всегда одинаковую историю. Картина тирании децемвиров 1793 года была начертана черта в черту у Тацита, и Камиллу Демулену достаточно было перевести историка императорского Рима, чтобы представить глазам современников зрелище их собственного рабства.

II

Следует клеймить преступления, но следует также, и прежде всего, клеймить доктрины и системы, стремящиеся их оправдать.

Сколько писателей, не осмеливаясь открыто выступить в

защиту палачей, не бормотали ли в их пользу туманные слова о государственных соображениях, роковой необходимости, общественном спасении — удобные предлоги, к которым прибегали все честолюбцы, будь то государи или демагоги!

Часто говорили, что Франция была спасена Террором. Верно как раз обратное. Франция обладала такой жизненной силой, что была спасена вопреки Террору. Когда великая нация, и в особенности французская нация, охвачена благородным и неодолимым воодушевлением, она уже не смотрит, кто ею предводительствует, она видит лишь знамя отечества и одним возвышенным порывом обеспечивает себе победу.

Близорукие люди приписывают славу успеха тем, кто поставил свои имена внизу боевой сводки или кто является рассказывать о ней с трибуны в стиле карманьол Барера. Умы более возвышенные не обманываются: они относят честь триумфа одной лишь Франции, её героизму и её гению.

В 1792 году нация находилась под постоянным действием двух противоположных течений: одно, рождённое любовью к отечеству и воодушевлением свободы, заставляет всю молодёжь наших городов и деревень братья за оружие, устремляет её к нашим границам, которым угрожают или которые уже захвачены, порождает тех героев, что двадцать пять лет побед изумляли Европу; другое, происходящее из низости, ненависти и мщения, накопившихся в униженных душах,

приводит в брожение дурные страсти, возбуждает слабые и малодушные воображения, пробуждает самые свирепые вожделения, порождает сентябрьских убийц, вязальщиц якобинцев и фурий гильотины.

В легко понятном партийном интересе некоторые писатели не захотели различать действие этих двух течений, столь различных по своим истокам и последствиям. Они утверждали, будто одна и та же мысль толкала одних и тех же людей и к вербовочным бюро, и к окошку тюрьмы Аббатства, и будто массовые убийства, обагрившие кровью мостовые столы, были совершены теми самыми людьми, которые мгновение спустя бросились останавливать продвижение пруссаков в теснинах Аргонна.

Нет, к чести французского имени: люди, которые под погребальный звон сентябрьского набата и по призыву децемвиров Коммуны устремились к тюрьмам, не были теми, кто пятнадцать дней спустя спас Францию на плато Вальми; палачи вовсе не становились солдатами. Если некоторые из этих негодяев и попытались на миг скрыть свой позор в рядах парижских волонтеров, их вскоре узнавали, на них указывали, и подлинные солдаты свободы изгоняли их из своих рядов как недостойных встречать рядом с ними смерть храбрых.

Под пером некоторых историков убийства 1793 года оказываются то, как сказал Шатобриан, «гениальными замыслами», то ужасными драмами, чье величие прикрывает крова-

вую гнусность.

Не было ни величия, ни гениальности в большинстве тех, кто в эту роковую эпоху силой захватил верховную власть. Мы увидим их за делом, этих так называемых великих людей; мы постараемся подслушать их сокровенные мысли, когда из глубины своих кабинетов они писали исполнителям своих кровавых приказов. Эти лица, из самой их злодейской сущности пытавшиеся соорудить себе пьедестал, не имели иной заслуги, кроме того, что представляли страсти, предубеждения, ненависть и гнев революционной черни; она признала их своими вождями и героями, потому что они были созданы по её образу и подобию. Из них хотели сделать фанатиков; большинство же были лишь лицедеями, без убеждений, как и без воодушевления.

Проследите в истории неистовых монтаньяров, переживших революционную бурю: большинство из них уже не помышляет о свободе, кровавыми апостолами которой они себя сделали; они уже не потрясают кинжалами, которыми в своих речах угрожали всем, кто стал бы стремиться к тирании! Эти бывшие сеиды Комитета общественного спасения, эти бывшие поклонники бога Марата бросаются в передние удачливого солдата, восседающего в Тюильри; без колебаний сбрасывают они изношенные одежды представителя народа с саблей и плюмажем или члена советов с тогой и латиклавой, чтобы облачиться в совсем новую ливрею сенатора, префекта или государственного советника! Эти гнусные личности

не заслуживают никакой жалости, а те из их вождей или приспешников, кого гильотина остановила на середине пути, не более достойны снисхождения. Поэтому в ходе нашего повествования мы решили не смягчать ни одной вины, ни одной ошибки, ни одного преступления, клеймить по заслугам малодушную слабость одних и холодную жестокость других. После стольких более или менее замаскированных апологий пора наконец дать прозвучать голосу вечной морали. Для всех действующих лиц драмы 1793 года начался суд потомства: он должен быть беспощаден. Пусть же верная картина неистовств демагогии заставит в ужасе отступить тех из наших современников, кто, увлечённый воображением, обманутый пустыми софизмами, сбитый с толку фаталистическими доктринами, развращённый примером слишком удачного насилия, грезил бы о возвращении царства грубой силы!

Быть может, наши рассказы обратят к более человеческим чувствам слепых поклонников Дантона и Робеспьера, по крайней мере тех из них, кто в своих бредовых утопиях может быть искренен. Мы не смеем льстить себя надеждой на такой же успех у бесстыдных честолюбцев, которые объявляют себя вполне готовыми прибегнуть к гильотине или расстрелу как к последнему доводу против своих противников. Эти последователи *ultima ratio* безнадёжно неисправимы; но пусть знают: мстящая история ждёт их, чтобы пригвоздить к позорному столбу всеобщего презрения!

Первый вопрос, который мы задали себе, приняв решение писать историю Террора, был таков: какой датой, каким событием определить её начало? Какую точку отсчёта следует назначить тирании улицы, деспотизму мятежа?

Мы долго колебались, ибо сколькими предвестниками была предварена ужасная буря, покрывшая трауром всю Францию!

По зрелом размышлении мы остановились на дате 20 июня 1792 года, то есть на дне, когда анархия, добившись, так сказать, санкции своего воцарения в самом святилище законов, продефилировав там со своей неизменной свитой из пьяных мужчин и обезумевших женщин, осмелилась вторгнуться в неприкосновенное убежище Людовика XVI и надеть красный колпак на голову несчастного монарха, ожидая, пока снесёт её революционным ножом.

Конституционалисты в Собрании и в департаментах энергично протестовали против этой дерзкой попытки, но их голос затерялся в криках площадей, и смертельное уныние овладело ими.

С этого дня парижская национальная гвардия подала свою нравственную отставку. После нескольких мужественных, но разрозненных попыток её связка распалась. Каждый последовал совету своего эгоизма; каждый, леденев от страха, возвращался домой, надеясь, что о нём забудут и что буря пройдёт над ним, не задев его. Царство Террора было открыто; анархия воцарилась безраздельно, и её разрушительной

работе более не мешали даже крики жертв. Подобно Полифему из басни, она могла выбирать их в свои дни и в свои часы, приносить их в жертву по своей прихоти и на досуге, откладывая на завтра заклятие части своих узников, и никто не помышлял оказать хоть малейшее сопротивление её смертным приговорам.

Однако, прежде чем начать первую главу истории Террора, нам представляется необходимым установить состояние партий, разделявших тогда Францию. Мы также расскажем с некоторыми подробностями о двух событиях, предшествовавших 20 июня — одно за несколько месяцев, другое за несколько дней, — которые, на наш взгляд, являются их обязательным предисловием. Мы увидим, как главные действующие лица приступают к своим ролям, как обозначаются стремления, характеры, надежды, как партии готовятся к решающей борьбе, проводя смотр своих сил.

IV

В начале 1792 года Франция находилась в том периоде упадка сил, который у нации, как и у отдельного человека, следует за всяким великим физическим или нравственным усилием. Конституционная партия утратила свои иллюзии; партия роялистов вновь обрела надежды; демагогическая партия, полагая, что близка к цели своих желаний, удваивала пыл и дерзость. Все предчувствовали, что накануне новых разрывов. Но в пользу какой партии обернутся эти разрывы? В этом был весь вопрос!

Конституция 1791 года, применявшаяся на практике уже несколько месяцев, была признана настолько несовершенной, что даже сами её авторы признавали настоятельную необходимость её изменить[1]. Нужно было либо идти назад, либо двигаться вперёд. Но в первом случае — где остановиться? Следовало ли возвращаться к исходной точке, к тому старому порядку, который был разрушен под почти единодушные рукоплескания нации? Следовало ли принять систему двух палат, отвергнутую как слишком аристократическую? Или достаточно было сохранить конституцию, придав больше силы и власти полностью обезоруженной исполнительной власти? Те, кто хотел идти назад, были разделены тысячью разнообразных оттенков; те же, кто хотел идти вперёд, были, напротив, все согласны относительно первого пункта своей программы: ниспровергнуть монархию, с тем чтобы впоследствии перегрызться между собой, как только дело дойдёт до дележа её останков.

Несмотря на надежды, которые партия старого порядка черпала из последовательных неудач конституционалистов, нужно было быть совершенно слепым, чтобы верить, будто монархия Людовика XIV может быть восстановлена в 1792 году. Где были составные элементы того порядка вещей, который Революция ниспровергла? Что случилось с тремя основополагающими колоннами старого монархического здания — парламентами, дворянством, духовенством? Поверженные, разбитые, они лежали на земле, и никакая человеческая

сила не могла бы их поднять.

Парламенты, духовенство и дворянство в течение всего XVIII века боролись между собой и взаимно истребляли друг друга. Руины, образовавшиеся вокруг них, в значительной мере следовало приписывать лишь им самим. Парламенты объявляли себя великими поборниками свободы вообще, но в применении её оказывались мало озабочены тем, чтобы быть последовательными в своих заявлениях. Неоднократно они первыми требовали реформ, предлагали нововведения. Почти всякий раз, когда пытались применить на практике некоторые из новых идей, они поднимали громкий крик и препятствовали усилиям власти, ибо, по их мнению, всегда было не нужно принимать именно то новшество, которое предлагалось, а отвергнутое новшество как раз и следовало бы испробовать. Сломленные Учредительным собранием так же, как ранее Людовиком XV при Мопу и Людовиком XVI при Бриенне, они сочли нужным протестовать против декрета о роспуске; но их протесты, одни из которых были публичными, а другие тайными[2], не произвели никакого действия на общественное мнение. Оно отвернулось от них, как только они пожелали сопротивляться собранию, действительно представлявшему нацию, от имени которой они так долго притязали говорить.

V

Подобно парламентам, двор — другая сила старого порядка — не раз выказывал желание видеть исправление зло-

употреблений. В Версале было хорошим тоном проповедовать экономию, восставать против чрезмерных расходов, которых требовали гражданский и военный двор государя и принцев, пенсии и дары всякого рода, которые король, королева, фавориты и фаворитки дождём рассыпали вокруг себя. Но стоило какому-нибудь незадачливому министру попытаться внести хотя бы частичные средства против этих растрат, как тотчас каждый принимался восклицать: «Хотят умалить блеск короны! Хотят иссякнуть источник королевских благодеяний!» И все кружки, разделявшие окружение Людовика XVI и Марии-Антуанетты, мгновенно объединялись против министра, пытавшегося спасти государство от неминуемого банкротства. Министр падал; некоторое время более не говорили ни о реформе королевского двора, ни об упорядочении государевых милостей; беспорядок и расточительство возобновлялись с новой силой, и придворные кружки пользовались своей победой, чтобы с ещё большим пылом оспаривать друг у друга последние останки монархии. Известно, до чего доходили внутренние войны, печальным театром которых был тогда французский двор. В анонимных памфлетах, вдохновлённых, продиктованных, написанных самыми знатными вельможами двора, громоздились гнусные и позорные клеветы против лиц, которым надлежало бы оставаться священными и неприкосновенными.

До нас уже говорили, и нет ничего вернее: когда убийцы 1793 года пожелали бросить оскорбление в венчанную го-

лову, прежде чем отсечь её, они нашли грязь, которой воспользовались, в мерзких пасквилях, опубликованных аристократическими врагами королевы за несколько лет до Революции против неё и её окружения. Не Фукье-Тенвили и не Эберы первыми приставили к имени Марии-Антуанетты прозвание новой Мессалины: это ужасное обозначение давно было в ходу в некоторых салонах Сен-Жерменского предместья и даже в кабинетах Версаля. Знатные вельможи, которые его придумали или повторяли с улыбкой, в дни, отмеченные в Королевском альманахе, преклоняли колени у подножия трона, тогда как те, кто позднее, в Революционном трибунале, пользовался им, чтобы оскорблять мать, вдову, подсудимую, ещё продавали контрамарки у дверей театров или скромно переписывали роли в какой-нибудь конторе стряпчего и вовсе не предвидели, что однажды станут судьями, обвинителями, публичными оскорбителями и палачами своей королевы!

Можно и должно сказать: французское дворянство своими собственными руками убило себя. Оно покончило с собой, распространяя и делая популярными приятные шуточки, которые его прежние сотрапезники-философы изобретали против него самого; оно покончило с собой, отказываясь добровольно и пока не стало слишком поздно отказаться хотя бы от малейшей из своих устаревших привилегий, упорствуя в том, чтобы оставаться кастой внутри нации; оно покончило с собой, наконец, отправившись оглашать эхо Ту-

рина и Кобленца своими жалобами и обвинениями, отправившись искать за границей мстителей за свои распри, вместо того чтобы сплотиться вокруг трона и окружить королевскую семью неприступной стеной[3].

VI

Католическое духовенство в течение столетия, которому предстояло завершиться, насчитывало в своих рядах прелатов, обесчестивших себя громкими скандалами. Некоторые из его членов чудовищно злоупотребляли богатствами, которые благочестие верующих доверило на хранение их предшественникам. Роганы, Жаранты, Ломени де Бриенны продолжали примеры ужасающей безнравственности, некогда явленной кардиналом Дюбуа. В то же время, правда, и самые высокие, и самые скромные ступени церковной иерархии давали восхитительные образцы всех христианских добродетелей. Но эти добродетели большинства были неведомы толпе, тогда как пороки немногих бросались всем в глаза.

Духовенство с самого начала вовсе не было враждебно идеям равенства и свободы, одушевлявшим в 1789 году почти всю нацию: никогда не следует забывать, что большинство этого сословия присоединилось к третьему сословию ещё до заседания в Зале для игры в мяч и тем самым дало неопровержимое свидетельство проникавшего его духа примирения[4]. Положение изменилось, когда Учредительное собрание в своём пылу ниспровергать всё, что напоминало старый порядок, принялось обсуждать и голосовать эту нера-

зумную гражданскую конституцию духовенства, рождённую янсенистскими обидами и вольтерьянской ненавистью. Многие члены Собрания хотели лишь уменьшить влияние той части духовенства, которая была враждебна Революции, и полагали, что упорядочивают лишь некоторые вопросы дисциплины, которые они считали исключительно подведомственными светской власти. Но Учредительное собрание, увлечённое пылом нескольких влиятельных членов церковного комитета, зашло гораздо дальше, чем хотело поначалу, и приняло меры, значение которых поняло лишь слишком поздно; само того не ведая, оно встревожило совесть и посеяло среди сельского населения семена ненависти и раздора, из которых должен был родиться ужаснейший из бичей — гражданская война.

Когда через шесть месяцев после принятия гражданской конституции духовенства Учредительное собрание предписало всем священнослужителям, исполняющим публичные должности, принести конституционную присягу под страхом лишения сана и насильственного удаления из их диоцеза или прихода, в духовенстве обнаружился гораздо более глубокий раскол: все епископы, состоявшие членами Собрания, кроме двух, отказались от присяги; все епископы Франции, кроме трёх, последовали их примеру.

Конституционную присягу, правда, сначала принесло некоторое число просвещённых и почтенных священников. Одни, проникнутые доведёнными до крайности янсенист-

скими идеями, полагали, что возвращаются ко временам первоначальной Церкви; другие, плохо понимая доктрины галликанской Церкви, видели в этой конституции лишь перевод и комментарий идей, руководивших декларацией 1682 года. Основную массу армии присягнувших составляли робкие и наивные кюре, не пожелавшие из-за вопроса, который они считали довольно безразличным, разлучаться с паствой, которую привыкли вести; священнослужители, домогавшиеся самых высоких мест священнической иерархии, которые отныне должен был раздавать народный голос, столь странно применённый в подобном деле; бывшие монахи-расстриги, вышедшие из своих монастырей лишь затем, чтобы с тем большей жадностью наброситься на земные блага, чем более они некогда похвалялись презрением к ним; и, наконец, запрящённые в служении священники, слетавшиеся во Францию со всех концов католической Европы.

Таким образом, прежнее духовенство, некогда столь могущественное, оказалось рассеяно, поставлено вне закона и вскоре должно было быть призвано к славе мученичества. Новое духовенство не внушало ни уважения, ни сочувствия, и, видя, как множество его новых приверженцев вмешивается во все заговоры, во все неистовства, во все распутства демагогической партии, можно было предчувствовать, что они не остановятся на этом столь широком пути отступничества и скоро дойдут до отрицания всякой религии и до отречения от всякого стыда[5].

VII

Сто раз пытались определить характер Людовика XVI, и сто раз терпели неудачу: так же невозможно определить нерешительность, как закрепить на фотографической пластинке образ того, что меняется каждое мгновение.

В самый день своего восшествия на престол Людовик XVI начал тот длинный ряд колебаний, который после стольких планов, поочерёдно принимаемых, отвергаемых, возобновляемых, изменяемых, после стольких согласий, даваемых, толкуемых, берущихся назад, привёл к падению монархии и привёл монарха в Тампль, где у него осталась лишь одна мысль — умереть христианином.

Людовик XVI всегда был искренен в тех столь различных решениях, которые он принимал в течение восемнадцати лет своего царствования; но его недостаточное постоянство в намерениях было для него и для его друзей во сто крат пагубнее самой макиавеллиевской двуличности.

В течение пятнадцати лет, когда Людовик XVI осуществлял абсолютную власть, и в течение трёх лет, когда он царствовал как конституционный король, одна и та же причина приводила к одному и тому же результату: поражать бесилием всякую преданность, изнашивать в одно мгновение всех людей и все системы. Калонн падает через два дня после того, как добился отставки своего противника, хранителя печати Миромениля (апрель 1787 года); Дюмуре получает отказ в исполнении обещаний, данных ему за сорок во-

семь часов до того, чтобы побудить его с шумом уволить Ролана, Сервана и Клавьера (июнь 1792 года). Людовик XVI с одинаковой лёгкостью отрекается — с промежутком в пятнадцать лет — и от Тюрго, и от Нарбонна, быть может, единственных двух людей, которые могли бы отвлечь бурю.

К этой вечной неуверенности несчастный монарх присоединял непреодолимую робость, способную поистине заморозить в сердце самых верных его слуг самую горячую преданность[6]. Поэтому его намерения и поступки легко подвергались клевете; его природная доброта, его искренняя любовь к народу отрицались и осмеивались писателями, которые позднее дали имя тирана лучшему из людей и человечейшему из королей.

Королева Мария-Антуанетта нисколько не походила на своего супруга; но слишком часто ей хотели приписать в великой драме Французской революции роль, которую за сорок лет до того сыграла перед венгерским сеймом её героическая мать Мария-Терезия. Даже если бы она того и хотела, не в её власти было бы взять на себя эту роль. Мария-Терезия обладала правами сама по себе и сама могла за них вступаться. Мария-Антуанетта была иностранкой, австриячкой и уже в силу своего происхождения подозрительной для части двора и нации. Эта принцесса, которой предстояло испытать до дна всю горечь и все скорби, которой после того, как она была самой льстиво превозносимой из королев, предстояло стать несчастнейшей из супругов и матерей, не была той

сильной женщиной, какую воображали поэты и историки. Наделённая душой чувствительной и нежной, она нуждалась в изливаниях дружбы, слишком легко отдавалась самым задушевным и часто самым компрометирующим признаниям. Преданная своим друзьям, она не знала препятствий в служении им и не ведала опасностей придворных кружков — наихудших из всех, ибо они наиболее замкнуты. Руководимая неосторожными друзьями, не понимавшими ни людей, ни событий своей эпохи, она без меры и без осмотрительности предавалась сожалениям, которые внушали ей падение абсолютной власти и удаление самых близких друзей. Она, как и король, была добычей жесточайших сомнений, но сомнения эти касались не одного и того же предмета: Людовик XVI не знал, следует ли ему быть конституционным королём; Мария-Антуанетта знала, что не хочет, чтобы он им был. Колеблясь относительно средств, но никогда относительно сути вещей, она не имела никакой определённой системы; она была тверда лишь в своих антипатиях и в своей злопамятности. Она особенно не могла простить знатым вельможам, которые примкнули к народной партии и, по её мнению, предали свою касту, — преступление, в её глазах непростительное. Она употребила всё влияние, какое двор ещё мог иметь в Париже, чтобы добиться избрания Петиона на должность мэра, когда Байи подал в отставку и конституционалисты хотели заменить его Лафайетом. Мы скоро увидим, как Петион вознаградил её за содействие, оказанное ею

в этом обстоятельстве, когда роялисты и якобинцы голосовали одними и теми же бюллетенями. Она на мгновение доверилась Барнаву — и то, быть может, потому, что он родился плебеем, — доверие, в котором отказала Мирабо и в последний момент отказала Дюмуре. Она отвергла предложения герцога де Лианкура, обещавшего ей надёжное убежище в Руане, и это потому, что в 1789 году он принадлежал к меньшинству дворянства. Ибо, надо признать, последние руки, протянутые королеве перед роковым кризисом, унёсшим трон, были руками конституционными[7]; именно поэтому она ими и пренебрегла. Она опасалась всякой помощи изнутри, ибо впоследствии пришлось бы считаться с теми, кто её оказал бы; она обращала взоры к армиям коалиции, не отдавая себе вполне точного отчёта в том, чего она хочет и чего желает.

При исчислении сил роялистской партии мы ни во что не ставим официальных и неофициальных советников короля. Людовик XVI уже давно видел в своих министрах лишь простых приказчиков, которых никогда не допускал в своё сокровенное доверие; поэтому он менял их ежеминутно. Интриги, подобные тем, что некогда возводили и низвергали министров при версальском дворе, ещё волновали внутренность маленьких кабинетов Тюильри, и там оспаривали друг у друга лохмотья эфемерной и опороченной власти, как прежде оспаривали блестящее наследство Лувуа и Шуазелей.

Что касается сокровенных советников, их было немного[8], и притом ни один не пользовался преобладающим влиянием. Король и королева брали отовсюду планы и проекты, на мгновение следовали им и вскоре отбрасывали, не забываясь о том, не пробудило ли уже начатое исполнение новых подозрений и не стянуло ли ещё tighter узкий круг муниципальной, якобинской и народной полиции, которым был окружён дворец[9].

VIII

По самому выбору нашего предмета нам надлежит говорить не о благодеяниях Учредительного собрания, но лишь о его ошибках. Его благодеяния огромны, но только время могло закрепить признательность, которой мы ему обязаны за то, что оно вывело наши гражданские и уголовные законы из чудовищного хаоса, в котором они пребывали; довершило единство Франции; провозгласило религиозную терпимость, равенство всех французов перед законом и перед налогом; наконец, заложило принципы порядка и свободы — единственные законные основания современных обществ.

Принципы 1789 года, столь часто не признаваемые людьми, которые некогда их провозглашали, и людьми, которые провозглашают их ныне, устоят против одновременного действия тех, кто их отрицает, и тех, кто их искажает. Памятники Рима устояли перед натиском времени и даже перед ударами варваров, старавшихся отделить от них несколько камней, чтобы положить их в основание своих лачуг из пес-

ка и грязи; лачуги обрушились сами на себя; скрытые ими древние памятники вновь явились на своих вечных основаниях. Так было и так будет с творением 1789 года.

Что до нас, кто, полный веры в будущее свободы и в здравый смысл нашей страны, спокойно и безмятежно ожидает истинного и окончательного увенчания здания, возведённого Учредительным собранием, — мы, дети Французской революции, никогда не станем богохульствовать против нашей матери. Поэтому не без боли мы оказываемся вынуждены, по долгу историка, признать, что великое Собрание, когда дошло до применения на практике провозглашённых им принципов, совершило огромные ошибки. Оно могло бы избежать многих из них, если бы имело время опомниться, если бы каждый день не приходилось отвечать на затруднения текущего момента. Раздражённое несвоевременным сопротивлением двора, бравадой первых эмигрантов, оно потеряло хладнокровие и лихорадочно ринулось в область утопий. Безумное самомнение есть почти неизбежное следствие неопытности; поэтому мы видим, что с самого начала своей миссии Учредительное собрание систематически отвергает всё, что вблизи или издалека может походить на английские и американские учреждения. Если какой-нибудь здравомыслящий человек предлагает, чтобы эти учреждения послужили основанием и образцом для творения, которое представители Франции призваны воздвигнуть, тотчас с трибуны, в печати, а вскоре и в клубах слышно, как невежды, самона-

деянные люди и утописты — Бог весть, сколь изобильны эти три породы в нашей несчастной стране! — восклицают, что французская нация вполне заслуживает того, чтобы ради неё создали нечто новое, и что старьё, привезённое из соседних стран, ей не подобает.

Так тешат себя красивыми словами, услаждаются пышными прокламациями, рекомендуют согласие новоучреждённым властям, но нисколько не помышляют о практических средствах восстановить между ними единение, если оно хоть на миг окажется нарушенным.

Зато Собрание, которое, казалось бы, столь благосклонно верит во всеобщую добродетель и постоянную гармонию, всё своё недоверие приберегает для исполнительной власти. Оно помещает её на вершину административной иерархии и тем самым делает мишенью для всех нападений, но не оставляет ей права назначать никого из агентов, которыми она якобы руководит, и заранее осуждает её на смешное и полное бессилие.

Административная машина в том виде, в каком она вышла из рук Учредительного собрания, на первый взгляд, быть может, представляла собою целое, способное удовлетворить построивших её неопытных механиков; но, при ближайшем рассмотрении, можно было заметить, что её колёса, на бумаге чудесно пригнанные друг к другу, должны были остановиться при малейшем трении и сломаться при малейшем толчке. Сила действия была тем значительнее, чем ниже

спускались по иерархической лестнице. Если министры, администраторы департаментов и даже дистриктов были наделены ею весьма скудно, то муниципальные управления были одарены ею сверх меры; инициатива всех важных мер, и в особенности всех тех, что касались поддержания общественного спокойствия, была доверена исключительно последним; вышестоящим властям едва оставили право надзора, которое могло осуществляться лишь тогда, когда уже не было времени исправить ошибки, вызванные неспособностью или недоброжелательством низших властей, предоставленных самим себе, без правил, без руководства и без узды.

Наконец, эта столь чрезмерная муниципальная власть не была вверена единоличным должностным лицам, чья личная ответственность была бы по крайней мере задействована; ею наделили коллективные управления. Благодаря столь прискорбному сочетанию, безответственные заправилы имели полную возможность держаться в тени и заставлять действовать по своему произволу или в своих интересах людей, выдвинутых ими на первый план. Все совещались, никто не имел поручения действовать. Только когда обстоятельства требовали быстрого и решительного решения, самый незначительный из муниципальных чиновников присваивал себе право надеть должностной шарф и, без делегирования, как и без мандата, собственной властью принимал важнейшие и часто самые непоправимые решения.

Если бы кто-то сознательно пожелал организовать анар-

хию, он не сумел бы сделать это лучше.

Но особенно в учреждениях, свойственных городу Парижу, Учредительное собрание, надо признать, превзошло себя в непредусмотрительности. Администрацию этого огромного города — постоянного очага брожения во времена народного возбуждения — утыкали всевозможными колёсами; эти колёса, переплетаясь между собой, вредили общему действию, а иногда и полностью его парализовали.

Совет Коммуны состоял из ста сорока четырёх членов, из которых выбирали сорок восемь, а те, в свою очередь, избирали из своей среды шестнадцать для образования пяти административных бюро, почти полновластных каждое в своей части. Во главе совета стоял мэр, который всё мог для зла и мало для добра, был волен своим присутствием санкционировать беспорядок, но почти бессилён его остановить. Из этого мэра сделали идола, подобного тем богам Индии, которых заставляют двигаться и говорить по желанию, которых в праздничные дни с большой пышностью носят по улицам, но в минуты кризиса убирают в глубину храма, окружая облаком фимиама.

Все сложности органического закона о парижском муниципалитете служили лишь тому, чтобы затруднять правильный ход выборов, утомлять мирных или занятых избирателей и заставлять их покидать зал голосования. Мы скоро увидим: в день, когда некоторые ультрареволюционные секции решили ниспровергнуть трон Людовика XVI, не было

ничего легче, чем свести на нет все пустые предосторожности, которые законодатель с великим трудом нагромоздил, чтобы построить карточный домик, рухнувший в ночь на 9 августа 1792 года под дуновением демагогического восстания.

Благодаря одной побочной фразе, затерянной в статье, на которую при голосовании Учредительное собрание обратило мало внимания, заседания муниципального корпуса и генерального совета были объявлены публичными и тем самым отданы под непрестанное и яростное давление трибун. С другой стороны, закон провозгласил в принципе, что сорок восемь секций, на которые разделили столицу, не смогут после состоявшихся выборов ни оставаться в сборе, ни собираться вновь без особого созыва, предписанного муниципальным корпусом; но, в виде исключения, тотчас же подрывавшего столь мудрое правило, другая статья того же закона требовала, чтобы созыв сорока восьми секций происходил, как только его потребуют восемь из них. Для осуществления этого права в каждой секции был учреждён постоянный гражданский комитет из шестнадцати членов. Поскольку обязанности этого комитета не были ясно определены, составлявшие его члены естественно должны были суетиться в пустоте и всеми средствами стараться увеличить свою значимость. Так, с невероятной неспособностью, Учредительное собрание создало в Париже сорок восемь очагов вечного брожения и как бы заранее дало мятежу его органи-

ческий закон, его привилегии и его неприкосновенность. В каждой секции образовалось ядро заправил, которые ежеминутно требовали собраний и проводили на них самые поджигательские и самые противоконституционные предложения; эти предложения стараниями их авторов передавались из секции в секцию и за несколько часов обходили весь Париж.

Отсюда до официальной переписки и ежедневных сношений оставался один шаг, и он был вскоре сделан. Секции фактически стали почти постоянными ещё до того, как закон, как мы увидим далее, упорядочил эту постоянность[10].

IX

Учредительное собрание отступило перед трудностью урегулировать свободу печати и право собраний; тем самым оно дало демагогии средства ниспровергнуть здание, только что возведённое с таким старанием и трудом.

Правда, оно неоднократно выражало негодование против распушенности некоторых писаний, заявляло, что их авторы будут преследоваться как преступники против нации и нарушители общественного покоя, и наконец поручило своему конституционному комитету представить закон по этому предмету. Но проекту, составленному Сиейесом, не дали хода, и печать, фактически неприкосновенная, если и не по праву, продолжала на всё нападать, всё клеветать, всё ниспровергать. Партии не преминули воспользоваться этой крайней распушенностью вплоть до того момента, когда уль-

трареволюционеры, насильственно захватив власть, положили предел разгулу гласности. Они превозносили свободу печати, пока речь шла о борьбе с их противниками; но на другой день после того, как стали хозяевами, они запретили неугодные им газеты, разбили печатные станки своих оппонентов и раздали шрифты своим друзьям. Несколько позднее им предстояло отправить на эшафот писателей, позволявших себе бороться с ними. При их владычестве королевскую цензуру заменила гильотина.

Право собраний не было провозглашено; оно утвердило себя само. В самом лоне Собрания образовался Бретонский клуб — первое ядро якобинцев. Этот клуб вскоре приобрёл самое грозное распространение: более четырёхсот обществ были с ним связаны и в 1792 году покрывали Францию обширной сетью полицейского надзора, слежки и доношительства. Он ещё носил название Общества друзей Конституции — название поистине лживое, ибо в глубине сердца его члены в огромном большинстве поклялись погубить то самое дело, которое вслух обязывались защищать.

В Париже основывались и другие клубы: одни более неистовые, как клуб Кордельеров, другие более умеренные, как клуб Фельянов; но ни один не пользовался влиянием, сравнимым с влиянием грозного якобинского сообщества. Учредительное собрание в конце концов поняло, сколько опасностей таит в себе организация государства в государстве; но ему не достало мужества, и оно не осмелилось силь-

ной рукой занести топор над деревом, которое само же посадило. В последние мгновения своего существования оно помышляло о том, чтобы исправить пагубное увлечение, с которым допустило, разрешило и даже поощрило учреждение народных обществ; оно потребовало от своего конституционного комитета проект закона, предназначенного обуздать злоупотребления правом собраний; но после долгих прений и по настоянию Робеспьера, хорошо знавшего, что он делает, выступая безудержным защитником клубов, из предложений комитета вычеркнули всё, что могло быть действительным; и урезанный, изувеченный декрет остался мёртвой буквой, с которой на другой же день после обнародования, казалось, никто не считался.

В то время как Учредительное собрание не осмеливалось напасть на двух новых государей — печать и якобинцев, — оно, само того не желая, дезорганизовало последнюю силу, способную сопротивляться поступательному нашествию демагогии.

Национальная гвардия была энергично устроена Лафайетом; при нём она приобрела единство, составлявшее её силу и престиж. Чистые роялисты и демагоги встревожились этим по разным причинам и не переставали обличать сосредоточение в одних руках военной власти, по их мнению, слишком значительной. Покинутый двором и оскорбляемый Революцией, конституционный генерал подал в отставку; Собрание, воспользовавшись его уходом, постановило, что ко-

мандование национальной гвардией будет переходить поочерёдно и ежемесячно к каждому из начальников шести легионов. Это значило отдать спокойствие столицы на волю случая; это значило оставить поводья командования, которое, чтобы ему повиновались и его уважали, должно было оставаться в одной и той же руке.

Х

Было бы в высшей степени несправедливо возлагать вину за все эти ошибки на обширные умы, которые, как весьма ошибочно полагают, постоянно направляли прения нашего первого национального собрания. Каждый день самые тщательно разработанные проекты изменялись, опрокидывались, уничтожались голосованием, вырванным у неопытности слишком разнородного и слишком колеблющегося большинства.

По мере того как Учредительное собрание продвигалось в своих трудах, вожди конституционной партии всё более чувствовали, что их захлёстывает партия крайней левой, сначала столь незначительная, что Мирабо мог воскликнуть: «Молчание тридцати голосам!» Эта последняя партия постепенно пополнялась массой искателей дешёвой популярности; а их много во всяком совещательном органе — тех, кто умеет составить себе имя, лишь льстя страстям и потакая предрассудкам толпы! Благодаря этим честолобивым, тщеславным и нерешительным людям, а также благодаря воздержанию, а порой и открытому содействию правых, крайняя

левая смогла последовательно добиться отклонения двух палат, провозгласить несовместимость должностей министра и депутата, запретить членам Собрания быть переизбранными в Законодательное собрание и отвергнуть всякую попытку пересмотра конституции.

Чистые роялисты только и желали, чтобы дела зашли как можно дальше, надеясь, что из крайнего зла родится то, что они считали высшим благом: восстановление старого порядка с новой силой и новой жизненностью. Так они играли в чёт и нечет в этой пагубной игре, где ставкой были жизнь королевской семьи, спасение монархии и счастье нации[11].

Ах, если бы они заставили умолкнуть обиды, которые считали обоснованными, но которые было бы великодушно и искусно уметь попать ногами, они могли бы, соединившись с конституционалистами, заставить замолчать трибунов демагогии, упрочить трон, ради которого объявляли себя готовыми на все жертвы, и избавить Францию от двадцати пяти лет внутренних распрей и внешних войн.

Они не поняли ни своих интересов, ни своих обязанностей — ни в начале деятельности Учредительного собрания, когда народные страсти ещё не разбушевались, ни в конце многотрудной и бурной сессии, когда бегство короля и его арест в Варенне создали их противникам совершенно новое положение. В тот момент союз между двумя партиями, считавшими монархический принцип якорем спасения Франции, был лёгок. Конституционалисты, скорее чем пожерт-

зовать этим принципом, готовы были потерять ещё окружавшую их популярность; они только и желали вернуться ко многим мерам, принятым скорее по увлечению, чем по убеждению[12]. Но их авансы были отвергнуты, и они оказались одни, чтобы выдерживать непрестанную и ожесточённую борьбу, которую готовилась вести с ними демагогическая партия.

Эта последняя до тех пор хранила благоразумное молчание о своих намерениях; но с этого момента она высоко подняла знамя Республики, о которой, кроме, быть может, нескольких утопистов, никто ещё не помышлял. В течение нескольких дней междуцарствия, прошедших между бегством и возвращением из Варенна, Собрание одно и без спора было сувереном Франции. Поэтому восхвалители республиканского строя восклицали на все лады: «Вы видите: общественное спокойствие поддерживалось в Париже и в департаментах; дела шли как обычно; председатель Собрания отлично занимал на публичных церемониях место, некогда принадлежавшее королю[13]. Зачем же восстанавливать власть, полную бесполезность которой доказали факты, и заставлять Людовика XVI вновь занимать место, которое он добровольно покинул? Король по Конституции — лишь парадный король; его роль может сыграть первый встречный; или, вернее, зачем нужен глава исполнительной власти, если все власти должны быть сосредоточены в лоне Национального собрания?»

Это была, как видно, теория революционного правительства в том виде, в каком его учредили позднее, — теория, долженствовавшая привести к деспотизму Комитета общественного спасения.

Конституционалисты, чтобы спасти монархический принцип, оказались вынуждены прибегнуть к правовой фикции, ложность которой бросалась всем в глаза[14]; им пришлось допустить, что король был ночью похищен из своего дворца злоумышленниками, против своей воли увезён в Варенн и что не следует принимать во внимание неосторожный манифест, который он поручил своему верному наперснику Лапорту положить на стол Собрания на другой день после отъезда. Этой знаменитой декларацией король фактически отрёкся от престола; для его спасения, для спасения его семьи, для спасения королевской власти было бы во сто крат лучше, если бы он упорствовал в своём отречении. Раз дано известное положение, нужно решительно его принять и держаться до конца. Этого не поняли ни Людовик XVI, ни Мария-Антуанетта. Регентство казалось им страшнее всякого другого решения, ибо оно было бы неминуемо отдано герцогу Орлеанскому или Лафайету; поэтому они без колебаний вновь приняли скипетр, который сложили на стол Национального собрания. Они сохраняли его ещё год среди непрестанных тревог, ценой непрерывных нравственных мук, чтобы уронить его 10 августа в ложу «Логографа».

Демагогическая партия только что вышла на сцену; теперь мы увидим её за делом.

После возвращения из Варенна у якобинцев, где находилась главная квартира армии беспорядка, предлагается петиция; в ней требуют низложения короля; решают, что она будет торжественно возложена на алтарь Отечества на Марсовом поле; все корифеи партии должны явиться и торжественно поставить под ней свои подписи. Это объявление привлекает 17 июля 1791 года на поле Федерации любопытных и праздных жителей столицы. Но в последний момент организаторы демонстрации не являются и предоставляют играть свои роли статистам.

Подставляют негодяев, чтобы оскорблять национальную гвардию. Сигнал к мятежу даёт пистолетный выстрел в самого Лафайета; в войска бросают камни; затем, как это случилось столь часто, зачинщики ускользают, и бедствия столкновения обрушиваются на нескольких стариков и детей.

После дня 17 июля республиканская партия кажется сокрушённой. Но вскоре её рассеянные вожди смыкают ряды; её на миг устрашённые писатели вновь берутся за перья; её ораторы, которые прятались, возвращаются разглагольствовать на трибуну якобинцев и кордельеров.

Все эти вожди, все эти писатели, все эти ораторы кажутся объединёнными одними мыслями; но втайне они уже завидуют друг другу, ненавидят друг друга; прозорливые люди уже могут различить оттенки, которые вскоре разделят всех

этих людей и сделают их непримиримыми врагами. Многие искренни в своих иллюзиях: они грезят о республике Спарты с нравами Афин; они верят, что смогут низвергнуть трон, обзавестись добродетельными, неподкупными, чуждыми всякого честолюбия должностными лицами, а затем на пиру увенчать себя розами и уснуть в досуге утончённой неги. Несчастные, которые были лишь политическими художниками, которых позднее назовут жирондистами и которых Марат с иронией обозначит именем «государственных мужей»! Они проснулись лишь у подножия гильотины.

Среди вождей, идущих уже под другим знаменем, одни, как Дантон и его друзья, ищут удовлетворения своих грубых вожделений; они любой ценой хотят приобрести те почести и богатства, которые должны стать для них источником всех наслаждений. Другие, как Робеспьер и Марат, принося жертвы иным богам, видят в готовящемся катаклизме лишь торжество своей гордыни. Они стремятся к всемогуществу, чтобы раздавить своих врагов ногами и вкусить высшее наслаждение мести. Чем больше их до сих пор осмеивали, позорили, выставляли на посмешище, тем сильнее хотят они заставить человечество раскаяться в непростительном преступлении, которое оно совершило, не признав их.

Ниже этих вождей скрываются люди, которыми движет один лишь страх. Они укрылись в рядах якобинской партии, чтобы никто не вздумал упрекать их за прошлые слабости, за подозрительное прошлое, за воспоминания о дворянских

или священнических кастах, к которым они принадлежали. Они хотят дать неопровержимые залого своей преданности демагогии и верят, что могут смыть первородный грех, которым запятнаны, лишь крещением кровью.

Ещё ниже копошится та зыбкая масса людей, которые, не сумев найти себе место ни среди реакционеров, ни среди конституционалистов, хотят во что бы то ни стало играть роль. У этих людей нет ни политической цели, ни определённого принципа; они не составляют ни фракции, ни даже ясно очерченного, открыто организованного заговора. Это чернь, решительно идущая на приступ власти, потому что надеется, овладев крепостью, безнаказанно предаться там грабежу и разбою[15].

XII

В 1791 году Франция не имела — и не имеет ещё и сегодня, после семидесяти лет революций, — запасных законодателей и государственных людей. Она послала заседать в Генеральные штаты всех выдающихся людей, какими располагала в словесности, науках и политике, всех, кого долгие годы углублённых занятий и заслуженного уважения должны были указать выбору трёх сословий; после этих первых родов она оказалась истощена. Законодательное собрание, за весьма немногими исключениями, состояло из людей без идей и без политического прошлого, собранных со всех концов Франции и внезапно брошенных в раскалённую печь Парижа. Поэтому с первого же дня оно дало доказательства той

несвязности идей и волю, которой суждено было стать отличительной чертой его пребывания на мировой сцене.

С самого начала своей сессии это собрание исповедует глубокое уважение к Конституции и к установленным властям, но вступает в борьбу с королевской властью из-за пустячных вопросов этикета; оно провозглашает чистейшие принципы личной свободы, свободы совести, свободы обсуждения, уважения к собственности — и ежеминутно нарушает их с невероятной лёгкостью; оно хочет держать весы ровно между двумя партиями, разделяющими его самого, Парижем и Францией, — и даёт им победу попеременно, так что никогда нельзя быть уверенным, что в начале заседания оно не отменит декретов, принятых в конце предыдущего. Принимая слабость за великодушие, оно терпеливо выслушивает и печатает за счёт нации дерзкие адреса, которые являются зачитывать ему народные общества, не имеющие на то мандата; оно каждый день объявляет себя готовым подавить крики трибун, но всё более подчиняется их давлению, вечно откладывая на завтра меры, способные избавить его от этой тирании — самой одиозной из всех, тирании грубой силы и безответственной толпы.

Оно гремит против деспотов, против преследований, против инквизиционных мер старого порядка, против доносов, *lettre de cachet* и драгонад Людовика XIV — и спешит им подражать.

Через свой Комитет надзора оно устанавливает обширную

систему шпионажа во всех частях королевства и даже в самом дворце несчастного Людовика XVI[16]. Оно заставляет вооружённую силу поддерживать конституционных священников, которые служат мессу в окружении солдат вместо служек[17]. Оно нещадно преследует церковнослужителей, отказавшихся принести конституционную присягу и вследствие этого отказывающихся приносить гражданскую присягу.

Учредительное собрание отстранило неприсягнувших священников от всякой публичной должности, но по крайней мере назначило им скромную пенсию, чтобы они могли мирно окончить свои дни в кругу семьи; Законодательное собрание идёт дальше: оно лишает их всякого жалованья, всякого возмещения; оно объявляет их подозреваемыми в мятеже против закона и в дурных намерениях против отечества; несколько месяцев спустя оно выносит против них постановление о депортации — не как о наказании, а как о мере общей безопасности — и даёт директориям департаментов непомерное право ставить известное число французов вне общего закона; несколько дней спустя, не доверяя мягкосердечию департаментских властей, оно постановляет, что достаточно доноса двадцати активных граждан, чтобы обязать эти власти воспользоваться этим поистине драконовским правом.

Это была, как видно, организация доносительства, преследования и нетерпимости в самом широком масштабе.

Людовик XVI, правда, отказался утвердить эти два декрета; но что сказать о собрании, которое поддаётся подобным увлечениям, рукоплещет оратору — Иснару, — когда тот восклицает: «Против неprisягнувших священников не нужно доказательств!»[18] — и встречает восторженными одобрениями женатых священников, приходящих к его решётке щеголять своим отступничеством[19]?

XIII

Единственный вопрос, по которому все фракции Законодательного собрания оказались согласны и который был решён по предложению самого короля, был вопрос о войне, которую следовало объявить германскому императору и германскому сейму. По невероятному ослеплению, по необъяснимому головокружению в начале 1792 года все партии во Франции желали войны, все её хотели, все с радостью встретили торжественный декрет, которым она была объявлена (20 апреля 1792 года). Это потому, что война была неизвестностью, а среди всеобщего неведения каждый воображал, что из неизвестности родится осуществление его надежд. Одни полагали, что, бросив французов к границам, отвлекут внимание от внутренних волнений; другие думали, что из этой войны явится победоносный генерал, который заставит умолкнуть фракции и придёт восстановить королевскую власть; третьи, наконец, хотели довести дело до крайности и потрясти Европу, провозгласив всеобщее освобождение народов[20].

Бывшие учредители, занимавшие в армии высокие чины, поспешили просить назначений. Умеренная партия думала таким образом создать себе новые точки опоры; но именно тем самым она рассеивалась вместо того, чтобы спланиваться в единый пучок, разбрасывала свои силы вместо того, чтобы сосредоточивать их; она не видела, что прежде всего нужно было противостоять в Париже революционному гиганту, который, подобно римскому Горацию, станет поочерёдно хватать каждого из своих противников, чтобы вступить с ним в единоборство и без помех заколоть его, прежде чем броситься на другого.

Уже год демагогическая партия благодаря апатии и равнодушию, овладевшим массой парижского населения, молча шла на приступ власти и последовательно выбивала своих противников со всех позиций, которые те сначала занимали без спора.

В начале ноября 1791 года Байи подал в отставку с должности мэра Парижа, которую занимал два с половиной года, и из 80 000[21] граждан, призванных голосовать, лишь 10 300 приняли участие в открытом голосовании о его замещении.

Петион был избран 6 600 голосами против 3 000, отданных Лафайету.

В то же время Манюэль, литератор более чем посредственный, был избран прокурором-синдиком Коммуны; рядом с ним занял место Дантон, который, будучи за несколько

месяцев до того призван в генеральный совет департамента, предпочёл более доходную и более влиятельную должность заместителя прокурора-синдика Коммуны[22]. Закон назначил на последние дни 1791 года обновление половины парижского муниципалитета, и это обновление привело туда лиц, взятых из других классов, из других общественных положений и, естественно, проникнутых иными идеями, чем те, что составляли муниципальный корпус при его первоначальном образовании в 1790 году. Уровень ума и знаний понизился в этом совете, который сила обстоятельств призвёт сыграть столь великую роль в готовящихся событиях. Во главе полиции выборы, проведённые в лоне муниципально-го корпуса, поставили двух новых людей — Паниса и Сержана: один — адвокат без дел, другой — художник без таланта. Их имена, ныне окружённые чудовищной известностью, были тогда неизвестны и не внушали никому опасений. Эти два человека не замедлили захватить огромное влияние, которое даёт управление полицией в таком городе, как Париж, и оттеснили двух своих более старых коллег, Винье и Перрона, ожидая, пока одного добьются отставки, а другого — убийства[23].

Из всех властей, заседавших в столице, лишь одна была откровенно конституционной: генеральный совет департамента, называвшийся тогда департаментом Парижа.

Департамент уже в нескольких памятных обстоятельствах сопротивлялся увлечениям парижского муниципалитета. В

частности, он возвысил голос в защиту религиозной свободы и против инквизиторского надзора над королевской семьёй. Директория, избранная в совете и ведавшая всеми административными мерами, возглавлялась почтенным герцогом де Ларошфуко-д'Анвилем и насчитывала в своих рядах Ансона, Талейрана, Демёнье, Бомеца — четырёх бывших учредителей. Генеральным прокурором-синдиком был Рёдерер. Он проповедовал терпимость и даже примирение тогда, когда они уже не были возможны.

Что касается министерства, оно только что было вновь дезорганизовано после пяти или шести неудачных комбинаций. Министр иностранных дел Делессар был предан суду верховного национального суда в Орлеане; военный министр Нарбонн, низвергнутый дворцовой интригой, был отослан, как лакей. Именно в этот момент, в желании сделать новый опыт, несчастный Людовик XVI вздумал взять из рук вождей левой готовое министерство, в котором не знал ни одного члена, даже в лицо. Можно судить по этому, какую степень доверия должен был он оказывать этим случайным советникам.

Двумя главными лицами этого кабинета были Дюмурье и Ролан.

Первый, ловкий интриган, заслуженный пройдоха, неутомимый авантюрист, служил в тайной дипломатии Людовика XV. Он сгорал желанием составить себе место и имя в истории своей страны; но каким образом добудет он эти имя и

место, ему было почти безразлично. В день своего назначения министром он прибежал в клуб якобинцев, желая, чтобы подлинный государь дня санкционировал выбор, сделанный королём номинальным из его особы; он дошёл до того, что надел красный колпак, чтобы совершить полный акт присоединения к нравам и идеям этого места; но втайне он только и желал участвовать в самых контрреволюционных происках, лишь бы у них были шансы на успех и лишь бы в плане восстановления более или менее абсолютной монархии он мог сыграть роль Монка. Не более чем у Мирабо, у него была слишком деликатная совесть или слишком твёрдая добродетель; но, подобно великому оратору, он обладал верным чутьём к потребностям управления в то время, в какое жил; у него были дерзость и быстрота взгляда, позволяющие обращать события согласно своим замыслам. Сверх Мирабо, он обладал военным гением, и в своём появлении на первом плане — появлении, бывшем лишь мгновением в этой столь долгой жизни, начало которой было поглощено тёмными интригами, а конец протёк в изгнании и проскрипции, — он стяжал бессмертную славу спасения своей страны от иноземного вторжения.

Ролан представлял самый разительный контраст всем достоинствам, как и всем недостаткам блистательного Дюмуре. Они были почти одного возраста[24]; но жизнь, которую один потратил на поездки по разным странам Европы, на плетение интриг, на построение химерических прожек-

тов, на погоню за фортуной, другой провёл в глубине своего кабинета, сочиняя записки по вопросам философии и политической экономии, любуясь собой в своих творениях, упиваясь собственными достоинствами. Его связи с левой Законодательного собрания внезапно вывели его из неизвестности и перенесли из маленькой квартиры на улице де ла Арп в салоны министерства внутренних дел — самого важного и самого трудного из всех министерств во времена смут и волнений. Там он показал себя надменным, высокомерным, человеком ума недалёкого и лишённого инициативы, полагавшим, что всё сделано, если он, как в те времена, когда был в Амьене или Лионе инспектором мануфактур, написал доклад или составил циркуляр; он беспрестанно драпировался в свою добродетель, но не умел подвергнуть себя опасности, когда этого требовали его долг и его честь[25].

Таковы были власти, которым было поручено обеспечение общественного спокойствия в Париже; таково было положение партий, людей и вещей в тот момент, когда открывается огромная и страшная драма, которую мы, для назидания нашей страны, предприняли рассказать.

Примечания:

[1] См. в труде г-на Дювержье де Оранна «История парламентского правления», т. I, всё, что касается конституции 1791 года; нам нечего прибавить к этому превосходному исследованию.

[2] В конце настоящего тома (примечание I) мы приводим протесты парижского парламента и документы, из которых видно, каким образом они, оставшись тайными, были обнаружены и повлекли смерть тех, кто их подписал. Среди этих документов находится трогательное письмо Ламуаньона де Мальзерба, адресованное Фукье-Тенвилю, с просьбой о снисхождении к его зятю, г-ну Лепелетье де Розанбо, председателю палаты вакансий, у которого хранились эти протесты.

[3] Когда 10 августа г-н д'Эрвильи с обнажённой шпагой в руке приказал приставу открыть двери французскому дворянству, вошли двести человек. Там было несколько придворных, много неизвестных лиц, несколько человек, которые нелепо выглядели среди так называемого дворянства, но которых их преданность в этот миг облагораживала. (Мемуары г-жи Кампан, т. II, с. 342, изд. 1822 г.)

[4] Примечательно: тремя членами духовного сословия, которые первыми 13 июня 1789 года присоединились к собранию третьего сословия, были три кюре из Пуату — той

самой провинции, которой четыре года спустя, под именем Вандеи, предстояло сопротивляться армиям Конвента скорее, чем отказаться от культа своих отцов.

[5] Гражданская конституция духовенства и конституционная присяга сыграли весьма важную роль в событиях, которые нам предстоит рассказать. Мы сочли нужным посвятить им особое подробное примечание, в котором постарались кратко указать все фазы, через которые прошёл этот вопрос с 1790 года до 20 июня 1792 года. (См. примечание II в конце настоящего тома.)

[6] См. рассказ г-жи Кампан об этом предмете во втором томе её «Мемуаров». См. также, что граф де Ламарк пишет графу де Мерси-Аржанто 10 октября 1794 года. (Переписка Ламарка и Мирабо.)

[7] См. «Мемуары г-жи Кампан», т. II, с. 192–238.

[8] Граф де Ламарк пишет графу де Мерси-Аржанто 30 октября 1791 года: «Король и королева весьма одиноки и более, чем когда-либо, лишены верных людей, способных о них печься».

[9] Гувернёр Моррис в своей переписке говорит об окружении Людовика XVI: «У каждого был свой заговор, и у каждого маленького заговора были свои сообщники. Мудрые и твёрдые советы пугали слабых, тревожили беспокойных, задевали расслабленные умы и мягкие души...» (Т. II, с. 221.)

[10] Чтобы хорошо понять события, которые будут разворачиваться перед глазами наших читателей, важно состав-

вить себе ясное и точное представление об организации парижского муниципалитета. Примечание III, которое читатель найдёт в конце настоящего тома, содержит на этот счёт подробности, представляющиеся нам необходимыми.

12 ноября 1791 года Байи в своей прощальной речи перед генеральным советом Коммуны указал на все пороки этой организации; но его голос не был услышан, и, произнеся таким образом своё политическое завещание, этот достойный и несчастный магистрат удалился со смертью в душе, отчаявшись в спасении своей страны. Его имя вновь появится в истории Революции лишь тогда, когда нам придётся рассказывать о его героической смерти во рвах Марсова поля.

[11] Гувернёр Моррис, чья переписка так верно отражает день за днём воззрения роялистов, пишет 1 августа 1792 года: «При нынешнем положении вещей очевидно, что, если король не будет низвергнут, он должен стать абсолютным». В «Мемуарах» Феррьера, которые не могут быть заподозрены, поскольку сам он заседал справа в Учредительном собрании, можно прочесть подробности о том, каким образом члены роялистского меньшинства выказывали своё презрение ко всем прениям Собрания.

[12] К несчастью, была одна мера, от которой было гораздо труднее отступить, чем от других: гражданская конституция духовенства. С начала 1794 года в каждом диоцезе, а часто и в каждом приходе было по два настоятеля; что случилось бы с «вторгшимся», если бы решились разрушить сделан-

ное? Гражданская конституция стала, таким образом, камнем преткновения, о который разбились все тайные попытки примирения; это была главная ошибка, отяготившая всё творение Учредительного собрания и поразившая его насмерть.

[13] По странной прихоти судьбы, которую, быть может, недостаточно замечали, председателем Национального собрания был тогда маркиз Александр де Богарне. В эти дни междуцарствия процессия праздника Тела Господня совершалась как обычно, и г-н де Богарне был призван в четверг 23 июня 1791 года занять в церемонии место, которое Людовик XVI и его предшественники занимали ежегодно. Кто бы сказал этому простому члену Учредительного собрания, отделённому от своих коллег промежутком в несколько шагов, но промежутком, делавшим его королём Франции на один день, что шестьдесят лет спустя его внук облечётся в императорский пурпур и будет обладать верховной властью для себя и своих наследников в силу конституции, которая станет девятой по счёту после той, что в этот момент завершали?

[14] «Королевская власть всё более унижается теми средствами, которые употребляют для спасения монарха». (Письмо графа де Ламарка г-ну де Мерси-Аржанто, 13 августа 1794 г.)

[15] «Множество людей, жадных до даров фортуны и стремящихся вырвать их любой ценой, бросились в народную партию против двора, готовые служить последнему за

его деньги и готовые предать его, если он окажется слабее». (Мемуары г-жи Ролан, с. 56 первой части, 1-е издание.)

[16] Вот что говорил член Комитета надзора, конституционный епископ Кальвадоса Фоше, на заседании 18 мая 1792 года («Монитёр», с. 579):

«Большинство доносов, сделанных Комитету, было принесено лицами, которые имеют величайший интерес остаться неизвестными. Это люди, состоящие на службе у короля, которые потеряли бы свои места и сама жизнь которых подверглась бы опасности, если бы разгласились сообщённые ими сведения». Так как эти странные слова вызвали некоторый ропот, Фоше, которому самому было стыдно за подобные гнусности, прибавил: «Здесь идёт речь не о том, чтобы обсуждать нравственность этих доносов, но их полезность для общественного дела».

[17] «Мемуары Дюмурье», т. II, с. 125.

[18] «Монитёр» от 15 ноября 1791 г.

[19] Обыкновенно полагают, что женитьба священников современна культу богини Разума или что по крайней мере вплоть до самых худших дней Революции установленные власти имели стыд не приобщаться к тем вакханалиям, которые доставили именам Гобеля и Шометта столь печальную известность. Это не так; уже в 1792 году, когда королевская власть ещё пребывала в Тюильри, когда святилище законов ещё не подверглось вторжению обезумевшей черни, мы видим, как Законодательное собрание рукоплещет речи, с ко-

торой приходит к нему викарий церкви Святой Маргариты в Париже, представляя ему свою супругу и новое семейство.

«Монитор» от 12 мая 1792 года (с. 555) и «Журналь де Деба» того же дня (с. 210) почти в одинаковых выражениях повествуют о блистательном приёме, оказанном этому недостойному священнику, только что получившему брачное благословение из рук другого, ещё более недостойного священника. Вот речь, которую Законодательное собрание покрыло горячими возгласами одобрения:

«Законодатели, я с доверием прихожу возвестить в августейшем святилище Свободы, что я воспользовался неотъемлемым правом, которое возвратила всем французам наша бессмертная Конституция. Пора служителям римского культа приблизиться к своему святому истоку; пора, наконец, им вернуться в разряд граждан; пора, наконец, им примером христианских и общественных добродетелей загладить все соблазны, все преступления, все беды, причинённые безбрачием священников; и для достижения этого я соединился с честной и добродетельной подругой. Уже клевета, фанатизм, лицемерие пытались возмутить народ против этого святого союза, скреплённого клятвой у подножия алтарей и освящённого религией. Но граждане Сент-Антуанского предместья уже не имеют предрассудков, и, далёкий от того, чтобы поддаться этим козням, сей добрый народ, призвавший меня в генеральный совет парижской Коммуны, толпой пришёл поздравить меня и посоветовать мне оставаться на сво-

ём посту, уверяя, что никогда я не был более достоин его доверия. Законодатели, моя супруга, её почтенный отец и вся её семья присоединяются ко мне, чтобы принести вам своё почтительное почтение и просить вас принять приношение, которое мы возлагаем на алтарь Отечества для содержания его великодушных защитников».

«Монитёр» прибавляет, что оратор приглашается к почестям заседания вместе с супругой и сопровождающими его родственниками и что их вводят в зал среди почти единодушных рукоплесканий.

Ни «Монитёр», ни «Журналь де Деба» не называют имени этого священника-отступника; но наши разыскания позволили нам отыскать его имя и его судьбу. Мы только что видели, как он сам заявил, что был членом генерального совета Коммуны и жил в Сент-Антуанском предместье; следовательно, это, очевидно, Жан-Клод Бернар, который был одним из двух муниципальных чиновников, обязанных сопровождать на эшафот несчастного Людовика XVI, и который сам взошёл на него восемнадцать месяцев спустя вместе с Робеспьером.

Сомнение в тождестве оратора 12 мая 1792 года невозможно, если сопоставить, как это сделали мы, национальные альманахи 1793 года и II года с общим списком гильотинированных, где Жан-Клод Бернар значится под номером 2 645 в качестве бывшего священника и бывшего члена Коммуны. Ему было тридцать два года, и родился он в Париже. В «Ис-

тории Людовика XVII» г-на де Бошена (с. 44 второго тома) находится анекдот, доказывающий всю грубость этого лица.

[20] Уже 29 ноября 1791 года Иснар в своём пророческом воодушевлении воскликнул: «Если французский народ обнажит меч, он далеко отбросит от себя ножны; воспламенённый огнём свободы, вооружённый мечом, пером, разумом, красноречием, он может один, если его раздражить, изменить лицо мира и заставить трепетать всех тиранов на их глиняных тронах».

[21] Г-н Гранье де Кассаньяк в своём труде о жирондистах, где он притязает на самую щепетильную точность, совершает по этому поводу важную ошибку. Он говорит о 300 000 первичных избирателях, которые могли в ноябре 1791 года участвовать в избрании мэра Парижа; этих избирателей было всего 80 000. Это число с необходимостью выводится из числа 812 выборщиков второй степени, чьи имена внесены в «Королевский альманах» 1792 года. Один выборщик второй степени приходился на 100 внесённых в списки первичных собраний избирателей, присутствовавших или отсутствовавших. В 1791 году и вплоть до периода после 10 августа 1792 года избирателями были одни лишь активные граждане, то есть те, кто платил налог, равный трём рабочим дням. (См. в конце настоящего тома примечание III об организации парижского муниципалитета.)

[22] Дантон был избран в начале сентября 1790 года секцией Французского театра членом генерального совета Ком-

муны. Из 144 членов, избранных в то время, он оказался единственным, отведённым большинством секций в силу права остракизма, которое закон предоставлял им в отношении их взаимных выборов; за него высказались три секции — Французского театра, Люксембургская и Моконсей. Именно эти секции в течение всей Революции исповедовали самые крайние принципы и поддерживали самых крайних людей. Дантон вскоре взял реванш, и по странной перемене мнений тот, кого большинство первичных избирателей не пожелало даже простым членом генерального совета Коммуны, был избран пять месяцев спустя выборщиками второй степени в генеральный совет департамента (февраль 1794 г.). Там он почти в одиночку составлял меньшинство. В следующем году (январь 1793 г.) он был выставлен в соперничество с Манюэлем на должность прокурора-синдика Коммуны. Так как был избран Манюэль, он удовольствовался должностью заместителя. Он был назначен на неё во втором туре 1 162 голосами из 80 000 внесённых в списки избирателей! Новое доказательство пагубной системы воздержания, которой умеренные держались в ту эпоху, к великому ущербу для общественного дела. В начале своей политической карьеры этот прославленный трибун, по-видимому, имел довольно заметные аристократические поползновения. В наших руках находится собрание документов, напечатанных по распоряжению дистрикта Кордельеров по поводу декрета о взятии под стражу, вынесенного против Мара-

та Шатле 8 ноября 1789 года; имя и подпись Дантона встречаются в этих документах ежеминутно и всегда написаны с апострофом, отделяющим первую букву этого знаменитого в демагогических летописях имени от второй. Сочинение вышло из типографии Моморо, который именовал себя «первым печатником национальной Свободы» и был тогда близким другом Дантона; оно напечатано по распоряжению дистрикта Кордельеров, где уже в тот момент Дантон царил почти безраздельно; следовательно, согласие трибуна на такое написание своего имени не подлежит сомнению.

[23] Перрон, заседавший в полицейском департаменте с 1790 года и в последнее время не всегда умевший противостоять требованиям своих коллег Паниса и Сержана, был принесён ими в жертву, как только выказал некоторое колебание следовать за ними по намеченному ими пути. Сохранённый в должности администратора 10 августа, в день, когда ещё нуждались в его подписи для отправления некоторых приказов и особенно для выдачи пороха, он был арестован 31-го по приказу нового Комитета надзора и общественного спасения, препровождён в Аббатство и убит 4 сентября. Вот текст записи о заключении и смертного приговора несчастного Перрона.

Выписка из регистра заключённых тюрьмы Аббатства.

От 21 августа 1792 года.

От 4 на 5 сентября 1792 года.

Г-н Перрон заключён по приказу членов Комитета надзо-

ра и спасения.

СМЕРТЬ. Г-н Перрон был судим народом и казнён на месте (*).

(*) Эта пометка целиком сделана рукой Майяра.

[24] Ролан, родившийся в 1734 году, имел пятьдесят восемь лет; Дюмуре, родившийся в 1739 году, — пятьдесят три.

[25] Вот портрет Ролана, начертанный жирондистом Дону в отрывке его «Мемуаров», датированном августом 1794 года:

«Ролан — магистрат честный, просвещённый, мужественный, но которому ставили в упрёк педантизм всех его добродетелей, твёрдый и бдительный, но жёлчный и неловкий, слишком колющий в мелочах своего управления, чтобы долго сохранять достаточно большое число друзей». Мы увидим, что Ролан заслуживал всех упрёков, но уж конечно не всех похвал, которые мы находим под пером Дону, ибо он часто не был ни твёрдым, ни бдительным, ни мужественным, если мужество состоит, как мы полагаем, в том, чтобы бросаться в самую гущу опасности, а не в том, чтобы писать из глубины своего кабинета более или менее напыщенные фразы.

Книга первая. — Праздник свободы и праздник закона.

I

Первая попытка демагогов провозгласить верховенство улицы, открыть царство мятежа и потрясти последние основания старого монархического здания была проведена весьма искусно.

Дисциплина в армии была уже сильно поколеблена; но в минуту крайней опасности она могла вновь обрести некоторую силу при голосе любимых и энергичных начальников. Именно против неё должны были направиться первые усилия якобинцев. Чтобы осуществить тайную программу их разрушительной политики, нужно было, чтобы союз солдатчины и черни был скреплён перед лицом всей страны великой демонстрацией, чтобы установленные власти, казалось, дали на неё своё согласие, чтобы вся нация выглядела её сообщницей; нужно было приучить массы, обожающие всё театральное и напыщенное, к патриотическим празднествам и мятежным процессиям, вовлечь их ровно настолько, чтобы пробудить в них вкус к бунту и волнениям, но так, однако, чтобы не слишком испугать близоруких людей, которые верят в опасность лишь тогда, когда отвращать её уже поздно.

Итак, в качестве военной машины изобрели великое

несчастье швейцарцев Шатовьё, и за героев были выданы сорок несчастных солдат, отправленных на галеры за очевидные дела мятежа, убийства и грабежа.

Чтобы дать нашим читателям возможность судить, заслуживали ли эти герои общественного восхищения, мы в немногих словах напомним их историю.

При старом порядке французские и иностранные полки набирались за деньги в тавернах и притонах больших городов. Этот гнусный промысел вели не только унтер-офицеры, которые для достижения своих целей часто прибегали к обману и насилию, но и сами офицеры, которые могли получить полугодовой отпуск лишь под условием привести с собой по меньшей мере двух рекрутов. Офицеры покупали свои патенты за деньги и порой, надо признать, наживались на жалованье и мелких расходах своих подчинённых. При подобной организации сколько было поводов для взаимных обвинений, сколько причин для столкновений!

Движение, волновавшее все умы в 1789 году, должно было иметь и действительно имело неизбежный отголосок в полках армии; среди множества из них проявились устрашающие признаки неповиновения. Французские гвардейцы подали пример в Париже; ему последовали другие корпуса в Марселе, Гренобле, Меце. Вскоре в большинстве полков образовались комитеты из унтер-офицеров и солдат, которые, обсудив свои права, вскоре поставили под вопрос права своих начальников.

Быть может, удалось бы подрубить под корень все беспрестанно возрождающиеся причины недовольства, одним ударом погасить все обиды и всю злобу, если бы последовали совету, данному Мирабо, предлагавшим произвести общее переформирование всех полков. Но военный министр, повинуясь задним мыслям, не пожелал и слышать об этом проекте, и события взяли на себя труд показать, сколь глубоко было зло, к которому не решились применить героическое средство.

В Нанси, в первые дни августа 1790 года, разразились беспорядки, для которых все прежние акты недисциплинированности были лишь прелюдией. Гарнизон прежней столицы Лотарингии состоял из кавалерийского полка (мест-де-кан), двух пехотных полков — одного французского (Королевского) и одного швейцарского (Шатовьё). 2 августа Королевский полк поднимает мятеж, вступаясь за солдата, которого хотят отправить в тюрьму. По просьбе муниципалитета военный комендант отменяет отданные им строгие приказы. Но слабость поощряет недисциплинированность[1]; несколько дней спустя полк выдвигает новые требования, и неповиновение остаётся безнаказанным. Тем временем Учредительное собрание, предупреждённое министром о печальных фактах неповиновения, вспыхивавших повсюду, спешит по предложению Эммери, постоянного докладчика военного комитета, издать декрет о том, что всякое сообщество, учреждённое в полках, должно немедленно прекратить суще-

ствование; что короля будут просить назначить высших офицеров для проверки, в присутствии ответственных офицеров и некоторого числа солдат, полковых счетов за шесть лет; что каждому офицеру, унтер-офицеру и солдату дозволяется направлять свои жалобы непосредственно высшим офицерам, министру и Национальному собранию; но что всякий новый мятеж, всякое согласованное между полками движение в ущерб воинской дисциплине будет преследоваться с последней строгостью.

Этот декрет, изданный 6 августа, вскоре стал в общих чертах известен в Нанси, но далеко не удовлетворил недисциплинированных солдат тамошнего гарнизона. 10-го Королевский полк требует свои счета и добивается первой выплаты в 150 000 ливров. 11-го Шатовьё посылает к майору двух солдат требовать деньги, которые, как он утверждает, ему причитаются. Оба просителя брошены в тюрьму и прогнаны сквозь строй. Видя это, Королевский полк и мест-де-кан берутся за оружие, освобождают заключённых и со шпагой в руке принуждают полковника восстановить их честь. На-завтра должен был быть торжественно провозглашён декрет Национального собрания; но вследствие происшедших событий комендант откладывает церемонию и запирает полки в казармах. Оба полка не обращают внимания на этот приказ и строятся в боевой порядок на Королевской площади, имея каждый в своих рядах одного из швейцарских заключённых. Комендант имеет слабость уступить желаниям мятежников:

он соглашается провозгласить декрет 6 августа перед лицом мятежа[2] и выдать по сто луидоров возмещения каждому из двух солдат, прогнанных сквозь строй; более того, полку Шатовьё выплачивают 27 000 ливров, истраченных тем же вечером на большой пир, устроенный им для двух других полков, которые братски поддержали его против начальников.

Узнав об этих прискорбных фактах, Национальное собрание понимает, какие ужасные последствия они могут повлечь. По предложению Эммери, говорившего от имени военного, следственного и докладного комитетов, оно единогласно постановляет (16 августа), что вооружённое нарушение декретов Собрания, утверждённых королём, есть преступление против нации первой степени; что участники мятежа должны в двадцать четыре часа признать, даже письменно, если того потребуют их начальники, своё заблуждение и раскаяние, в противном случае они будут наказаны со всей строгостью военных законов.

Вопреки этому декрету мятеж продолжается. Преследуют и угрожают смертью коменданту Дену и высшему офицеру Мальсеню, посланному рассмотреть жалобы солдат и восстановить порядок. Сцены насилия следуют одна за другой в Нанси и Люневиле.

Между тем Буйе было поручено исполнить декрет 16 августа в качестве командующего всей восточной границей. Он берёт с собой национальных гвардейцев Меца и Туля и

несколько полков, на которые рассчитывает. Утром 31-го он подходит к воротам Нанси и принимает депутацию мятежников, которую тотчас отсылает с требованием немедленно и безоговорочно признать законную власть.

Оба французских полка — Королевский и мест-де-кан — повинуются, покидают город и отходят на равнину близ Нанси, где строятся с оружием у ноги. Оба высших офицера, Дену и Мальсень, несколько дней удерживавшиеся в плену и подвергавшиеся дурному обращению, освобождены. Можно было надеяться, что мятеж угаснет без пролития крови. Но швейцарцы Шатовье ещё удерживают те городские ворота, через которые должны войти войска Буйе, и наводят на его авангард пушку, заряженную картечью. Молодой офицер Королевского полка, Дезиль, бросается к жерлу орудия и кричит швейцарцам: «Нет, вы не выстрелите!» На него набрасываются, его оттаскивают от поста, на котором он хочет умереть. Но вскоре он возвращается, бросается на колени между готовыми сразиться, умоляет мятежных солдат повиноваться закону; вдруг гремит пушка, раздаётся ружейная пальба, и героический офицер падает вместе с тридцатью пятью национальными гвардейцами Меца и Туля. Войска Буйе бросаются на защитников ворот, проникают в город, и их встречают ружейные выстрелы с крыш, из окон и подвалов; ибо к швейцарцам Шатовье присоединилось множество бунтовщиков и некоторое число солдат других полков. Однако после очень живого сопротивления закон одер-

живает верх; но в армии Буйе было убито и ранено сорок офицеров и четыреста солдат. Потери восставших были ещё значительнее; улицы Нанси были залиты кровью.

Немедленно учреждается военный суд для суда над мятежниками; согласно швейцарским капитуляциям, он состоял целиком из офицеров и солдат их нации. Девять солдат приговариваются к смерти, сорок — к тридцати годам каторги. Казнь первых состоялась в двадцать четыре часа; вторые были отправлены на каторгу в Брест. Наказание, быть может, было сурово, но те, кто навлёк его на свою голову, уж конечно не были невинными и ещё менее героями[3].

По всей Франции были совершены погребальные торжества в честь национальных гвардейцев и солдат, павших в Нанси ради поддержания порядка и исполнения законов. В Париже они состоялись 20 сентября 1790 года на Марсовом поле, и национальная гвардия носила траур восемь дней.

II

На другой день после принятия королём Конституции (14 сентября 1791 года) была дарована всеобщая амнистия по всем делам, связанным с революцией. Возник вопрос, подпадают ли швейцарцы Шатовьё под эту амнистию. С одной стороны, утверждали, что эти солдаты были осуждены как мятежники против французской дисциплины и что они отбывают наказание на французской территории. С другой — отвечали, что они были осуждены в силу иностранной капитуляции иностранными судьями и что одни лишь швей-

царские кантоны могут решать их участь. Между тем кантоны устами большого совета формально требовали оставить швейцарцев Шатовьё на галерах[4]. Этот спор за и против их освобождения длился с различными перипетиями в течение большей части зимы 1791–1792 годов. Чтобы заинтересовать парижан в пользу своих подопечных, якобинская партия применила тактику, которая, как мы не раз видели, удавалась ловким искателям искусственной популярности: присяжные писатели заставили народные театры поставить несколько пьес, героями которых были эти ещё находившиеся на каторге солдаты и в которых их предлагали восхищению зрителей как жертв тирании и мучеников свободы[5].

В низах якобинского общества копошился человек, который любой ценой хотел играть роль и которому вскоре предстояло стяжать громкую и чудовищную известность. Колло-д'Эрбуа, неудавшийся лицедей, посредственный писатель, неистовый декламатор, объявил себя неофициальным защитником швейцарцев Шатовьё; его поддержали «Братья и друзья», находившие таким образом средство оживить ненависть, которую им внушали Буйе и Лафайет — один со времени бегства в Варенн, другой со времени дела на Марсовом поле. Силой писаний, речей, петиций Колло-д'Эрбуа в конце концов добился от Законодательного собрания декрета, в силу которого, несмотря на противодействие швейцарских кантонов, действие амнистии распространялось на солдат Шатовьё.

«Позавчера вечером, — сказал он, сам объявляя великую новость якобинцам, — исполнительная власть утвердила декрет, возвращающий свободу несчастным жертвам Нанси; моему счастью недостаёт лишь того, чтобы представить их вам, и это счастье недалеко». Ему много рукоплескали, и было решено устроить блистательный приём клиентам оратора; но никто не позаботился объявить, каковы будут характер и цель этого приёма. Прежде всего была открыта подписка, чтобы обеспечить первые нужды швейцарцев, которым предстояло покинуть Брест без средств. Это благотворительное дело должно было встретить добрый приём у тех, кто в нём участвовал; заметили, что сама королевская семья через батальон Фельянов — секцию Тюильри — передала 4 марта своё приношение якобинцам. Дантон хотел, чтобы деньги тирана были отвергнуты, но Робеспьер воскликнул: «То, что королевская семья делает как частные лица, нас не касается», — и королевские средства были приняты.

Если подписка в пользу несчастных узников смогла на миг объединить самые противоположные умы, то настоящая буря разразилась в печати, как только была опубликована программа празднества, подготовленного якобинцами. Эта программа была озаглавлена: «Порядок и шествие триумфального вступления в город Париж мучеников свободы из полка Шатовьё»; она была подписана Тальеном, председателем комиссии. На первый взгляд это были лишь порядок и шествие шутовского маскарада; но, на минуту задумавшись о значе-

нии символов и эмблем, которые собирались пронести по улицам столицы, быстро замечали всю политическую важность, какую устроители празднества хотели ему придать.

Эта программа содержит основную мысль всех так называемых патриотических празднеств, которые в течение нескольких лет будут одно за другим развёртываться перед глазами парижан по приказу Коммуны или Комитета общественного спасения, — празднеств, где жалкие проститутки, предлагаемые поклонению и почтению толпы, играли роль Славы, Разума или Свободы. На сей раз город Париж должен был принимать город Брест; они были олицетворены двумя женщинами в античных одеяниях. Первая, восседая на колеснице, должна была выехать к заставе Трона навстречу своей сестре. За триумфальной колесницей этого нового божества должны были следовать муниципальные чиновники, которыми распоряжались без их согласия и которые тем самым должны были придать этой странной выставке официальный характер. В шествии, дабы не оставалось никакой двусмысленности относительно смысла якобинской манифестации, должны были фигурировать барельефы, относящиеся к делу Нанси и к преступлениям Буйе, надписи, напоминающие события, в которых пролилась кровь патриотов: Нанси, Венсен, Ла-Шапель и Марсово поле[6].

Кортеж города Бреста должен был состоять из Колло-д'Эрбуа и сорока солдат Шатовьё, одетых в мундиры своего полка; сорок человек сопровождали бы их, неся цепи и

каторжное платье каждого из этих мучеников свободы.

После того как обе женщины обнялись бы и поздравили друг друга, Париж пригласил бы Брест взойти на колесницу вместе с сорока солдатами и их неизбежным защитником. Шествие вновь двинулось бы в путь, муниципалы по-прежнему шли бы пешком, а Колло со своими клиентами красовался бы на колеснице. Так посетили бы развалины Бастилии, прошли бы по бульварам и направились бы к Законодательному корпусу. Там Колло, делегаты Бреста и сорок солдат сошли бы с колесницы и отправились бы принести своё почтение законодателям Франции. Программа по крайней мере избавляла Собрание от лицезрения двух божеств и их скандального появления в святилище законов.

После этого визита, который устроители праздника навязывали своей полной властью и не спросившись представителей французского народа, кортеж должен был направиться через Вандомскую площадь и площадь Людовика XV, где изображения деспотов были бы завешены[7], к Марсову полю, где кантаты в честь швейцарцев вознеслись бы к небу среди потоков фимиама. После этой церемонии, предназначенной, как говорилось в программе, «очистить поле Федерации», сорвали бы креп, до тех пор покрывавший национальное знамя, и предали бы гражданским пиршествам и танцам, которые должны были длиться, по выражению поэтической программы, «столько, сколько позволит день, слишком поспешно убегающий»[8].

Все секции Парижа были приглашены назначить комиссаров для присутствия на празднике. Секция Святой Женевьевы избрала Руше, поэта «Месяцев», который мужественно отстаивал в «Журналь де Пари» конституционные принципы. «Я согласен, — писал Руше (31 марта), — но при условии, что бюст благородного Дезиля будет на триумфальной колеснице, дабы народ созерцал убитого среди убийц!» Это письмо вызвало взрыв гнева среди якобинцев. Некто Меэ де Латуш, сам бывший комиссаром празднества и которого мы вновь встретим несколько месяцев спустя, когда будем рассказывать о сентябрьских убийствах, ответил на него в «Анналь патриотик», грубо оскорбив Руше и бросив ему в лицо в постскриптуме обвинение в краже, сформулированное так: «Мы знаем, что на свете существует некая финансовая касса, которая из полной стала пустой». Руше, выказав в этом обстоятельстве энергию и решимость, которые должно ставить в пример, объявил, что подаст жалобу на автора этой гнусной клеветы. «Пора, — восклицал он в конце своего живого ответа, — чтобы честный человек получил удовлетворение, которое справедливым страхом очистило бы наконец общество от самого нечистого, что в нём есть: от пасквилянтов, их покровителей, сообщников и приверженцев».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.